Был в Полевой приказчик Северьян Кондратьич. Ох и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.
В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак не возможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал. А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.
Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.
По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.
Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все ж таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня. Всякий с орудией какой-нибудь… Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.
Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И всё народишко — откать последняя. Братцы хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистон-чики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.
Первым делом уставщика спрашивает:
— Кто худо робит?
Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.
В Медну гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои да и хрипит руднишному смотрителю:
— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.
С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъему, — вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:
— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!
Приказчик схватился:
— Кто сказал? — Повернулся на голос да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — сама погрозилась.
Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя — струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:
— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался.
А приказчик свое думает: "Надо мной смеются".
Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной да и говорит своей-то ораве:
— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.
Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:
— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!
Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой обивай. Вырвал все ж таки, только сапоги спереди оскалились — подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:
— Слыхали что? в шахте?
Те говорят:
— Слыхали.
— Видели — как ноги у меня прилипли?
— Видели, — отвечают.
— Как думаете — что это?
Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:
— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.
— Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?
И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы.
— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.
И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил да и говорит:
— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай "Да воскреснет бог".
На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:
— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.
Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал "стой!", а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: сама это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.
Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.
— Ну, — говорит, — давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань, — а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?
А Северьян вгорячах кричит:
— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!
Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.
Уж не своим голосом закричал:
— Эй, сюда!
А девица ему и говорит:
— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.
И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.
— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка. А приказчик, — он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, — выхватил свой пистолет:
— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола… в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:
— До этого места нет его. — Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:
— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!
А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.
— Эх, ты, — говорит, — погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.
Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.
А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, то только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уже докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят — с одного-то конца она шлифована.


"Что, — думают, — за чудо. Кому тут малахит шлифовать?" Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные.
Новехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было!
Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился:
— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.
Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:
— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?
Мастер оглядел глыбу и говорит:
— А кому обой будет?
— Это, — говорит барин, — уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.
— Что же, — говорит, — постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а ото малахиту потеря.
Барин даже огневался на эти слова.
— Не о малахите, — говорит, — думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.
— Это, — отвечает мастер, — кому как.
Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежа были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.
Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:
— Кабы знатьё, — говорит, — так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

